

*В поисках ответа натолкнешься
на вопросы.*

Йозеф Чапек, брат Карела.
Погиб в апреле 1945 года
в концлагере Берген-Бельзен

Мы живем под собою не чуя страны...

Осип Мандельштам, 1933 год

*...Мы герои, веку ровесники,
Совпадают у нас шаги.
Мы и жертвы, и провозвестники,
И союзники, и враги.
...Мы испробовали нагайки
Староверских казацких полков
И тюремные грызли пайки
У расчетливых большевиков.
Трепетали, завидя ромбы
И петлиц малиновый цвет,
От немецкой прятались бомбы,
На допросах твердили «нет».
Мы всё видели, так мы выжили,
Биты, стреляны, закалены,
Нашей родины, злой и униженной,
Злые дочери и сыны.*

Анна Баркова, 1952 год

Сыну и дочери

*Я вам ничем не интересен:
Я не люблю ни ваших песен,
Ни ваших танцев, ни гримас
Пренебрежительных, ни фраз
На языке почти нерусском,
И мысли все мои о грустном.*

*И пусть не шибко я умён,
Но жизнь я вижу без прикрас:
Опять распалась связь времён,
Не навсегда ли в этот раз?*

Николай Зиновьев, 2012 год

Григорий Иоффе / Ефремов

100 лет с правом переписки

Народный роман

Художник Алексей Портнов

Иоффе Г. / Ефремов Г.

И75 100 лет с правом переписки. –

Эта История – не о вождах. Она о народе, угнетенном властью великих и бездарных вождей. Она о нас, скользящих по склонам песочных часов, где время отмеряется не датами рождений и смертей правителей, а минутами и часами жизни людей, из судеб которых складывается подлинная история человечества.

История русской и еврейской ветвей большой семьи на фоне истории страны с конца XIX по начало XXI века. 33 главы, более 400 иллюстраций.

Три революции и шесть войн. Князь Кропоткин и германская армия. Рассказывание, голод и Черные доски на Кубани. Жизнь и трагедия белорусских местечек. Ленинград: хроники блокады и городского быта. Жизнь и смерть в сталинских лагерях. Шаламов и Солженицын: поэт и делец. Тихая обитель старообрядцев и письма на край света. От советского застоя к криминальному капитализму. Враги народа Николай II, Сталин, Горбачев: кто следующий? Министры – убийцы пенсионеров. Вести из ГД: «Мы живем в социальном государстве». Благотворительность или воровство? Ценами – по яйцам, хлебу и молоку.

Семейный альбом, автограф на рейхстаге и притча о денщике...

Страна господ и крепостные с айфонами. За что и с кем боролись семь поколений российских подданных?

ББК 63.3

Ксения Герасимовна Ефремова (Фирсова), родилась 24 января (6 февраля) 1900 года в селе Губернском Екатеринбургского уезда Пермской губернии, умерла 2 февраля 1990 года в Ленинграде. Похоронена в поселке Ульяновка на Саблинском кладбище 6 февраля 1990 года.

УПРАВЛЕНИЕ МВД по КУСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗ. ССР

“17” октября 1955 № 1560 г.р. Кустанай.

Видом на жительство служить не может,
при утере не возобновляется.

С П Р А В К А

Выдана Ефремовой Ксенье Герасимовне 1900 года рождения, уроженке с. Губернское, Кыштымского р-на, Челябинской области, по национальности русской, гр-ке СССР, осужденной 22/IX-1943 г. Военным Трибуналом Войск НКВД Краснодарского края по ст.: 58.1“а” УК РСФСР к 10 годам ИТЛ,

в том, что он освобожден из ссылки на поселении в Семиозерном р-не Кустанайской области, КССР 17 октября 1955 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 года «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» со снятием судимости.

Справка выдана для предоставления органам милиции на получение паспорта.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УМВД

По Кустанайской области, Каз. СССР – *подпись* (ЗДОРИК)

Ст. оперуполномоченный отдела УМВД

Кустанайской области, КССР – *подпись* (ЧИСТЯКОВ)

Документы – как люди, у каждого свой характер. Документ может быть протокольно-холодным и по-человечески теплым, может быть живым и даже веселым, а может страшным, как смертельный приговор. В этой книге документы – одни из главных действующих лиц. Они многое расскажут и объяснят, что-то дополнят, в чем-то помогут восстановить истину, а где-то – бесстрастно и простодушно расскажут правду.

Выше – обыкновенная, на первый взгляд, справка, стандартная, такие в те годы писались тысячами. Нужно было лишь вставить ФИО и кое-какие личные данные... Если бы... если бы не ее текст, интригующий и провокационный. Снятие судимости... амнистия... советских граждан... сотрудничавших с оккупантами... Бесстрастно и простодушно, но какая интрига, какое лукавство вместо правды! Потому что, если ты сотрудничал – это одно, а если отсидел свой срок без вины виноватым и в награду отпущен на все четыре стороны – совсем другое.

Ниже – столь же обыкновенная, вроде бы, характеристика, короткая и конкретная, присланная, как я полагаю, из Казахстана в Ленинград для осуществления каких-то формальностей, скорее всего, как приложение к заявлению о реабилитации. И слова вроде бы обычные: работала... уволилась... Но за десятком этих строчек я вижу не столько характеристику Ефремовой К.Г., сколько характер автора, который пишет эту характеристику человеку, который только-только освободился из ссылки, отсидев 10+3, и на котором, независимо от амнистии, лежит пятно статьи 58-1а – измена Родине. Но в характеристике – ни намек на прошлое, простые, обыкновенные слова – «честной, добросовестной», «являлась примером», «по-матерински заботилась» и (!) «во многом помогла успешно осуществить подъем целины» – вдруг обретают новый смысл, не внешний, а внутренний, от этого документа веет душевным теплом и той интеллигентностью, которую не купишь вместе с дипломом.

Не знаю, были ли они знакомы – стряпуха и директор совхоза, знаю лишь одно: в отличие от множества других, быстро родившихся и столь же быстро исчезнувших из казахстанских степей хозяйств, совхоз Диевский, как бы он теперь ни назывался, жив и здоров по сю пору, а автор характеристики, которого я представляю попозже, через несколько лет после описываемых событий стал Героем Социалистического Труда.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Ефремова К.Г. работала в Диевском совхозе Семиозерного района Кустанайской области с 1953 года по 1956 год, уволилась из совхоза в связи с переездом к своей дочери.

За период работы в совхозе ЕФРЕМОВА проявила себя честной, добросовестной работницей, выполняя любые работы в сельском хозяйстве, в трудных условиях, являлась примером дисциплинированности. Последние 2 года тов. ЕФРЕМОВА работала в молодежной комсомольской бригаде трактористов – поваром. По матерински заботилась о молодежи, т. ЕФРЕМОВА во многом помогла успешно осуществить подъем целины в совхозе.

ДИРЕКТОР СОВХОЗА

/СТРИЖАЧЕНКО/

12 апреля 1956 г.

ПОДПИСЬ

Два документа – как два полюса, от затаенного недоверия до великодушного и непритворного прощения. Между этими полюсами можно вместить всю жизнь и всю судьбу Ефремовой Ксении Герасимовны, моей бабушки, человека, родившегося в канун XX века и прошедшего почти все столетие в ногу с ним. Впрочем, в ногу – не совсем точно и излишне изящно. Да, где-то в ногу, но где-то чуть-чуть забегая вперед, где-то отставая, бегом и вплавь, с падением в грязь и очередным очищением. Одна из первых комсомолок Урала в 1919 году и член партии с 1940-го до ареста в 1943-м, секретарь-машинистка и библиотекарь, заведующая загсом и делопроизводитель в райотделе НКВД, чернорабочая и заключенная, свинарка и повариха, дочь, мать, жена, домохозяйка, бабушка и прабабушка...

О ней, о ее времени, о близких и дальних родственниках, о ее друзьях и врагах – эта книга. И о том, что мы знаем, и о чем сегодня можем лишь догадываться, потому что рассказать об этом могли только те, кого уже с нами нет. О чем-то мы успели спросить, но многое так и осталось непроговоренным. Из-за нашего недомыслия, вечной занятости, бездушевности и нелюбопытства. Каюсь. И теперь, с помощью фактов и домыслов, восстанавливая события очевидные и вероятные, а также и с помощью близких и далеких добрых людей попробуем восстановить 90 звеньев-лет ее жизни, тесно связанных (даже в годы заключения) со всеми нами, героями и персонажами этой книги.

Глава первая.

1955 год. Ленинград, улица Марата, дом 59

Не помню никаких разговоров о приезде бабушки. Я понятия не имел, откуда она приехала. И знать не знал ни о каких лагерях. Но запомнилась первая встреча, как образ, как некое смутное облако, живущее в подсознании уже шесть десятков лет. Гладко причесанная, загорелое морщинистое лицо, темно-синее (так я его вижу) платье, тяжелый, но с какой-то затаенной внутренней искрой взгляд, она сидит на стуле, нога на ногу, с папиросой в руке, в нашей комнате. Вместе с ней в доме появилась новая вещь, деревянный, выкрашенный черной краской, чемодан. Всё ее хозяйство. От бабушки и от чемодана пахнет каким-то новым, стойким запахом, ничего общего не имеющим с «Красной Москвой». Из бабушкиных вещей этот запах дорог и степей со временем выветрился, он жил лишь в чемодане, и исчез из нашего дома вместе с чемоданом. Незаметно и неизвестно когда. С вещами такое происходит часто.

И папирота та была единственной ее папиросой, которую я помню. Хотя – никто не был бы против, папа курил, и пара пачек «Беломора» всегда лежала про запас в шкафу, разделявшем нашу продолговатую комнату на две половины.

Шел ноябрь 1955 года. Бабушке было 55, у нее была трудовая книжка из совхоза (весь прочий стаж из жизни был выброшен и не был восстановлен даже после реабилитации), но работать она не пошла даже после того, как получила прописку. Работать пошла мама, а бабушка стала вести наше хозяйство, убирать и готовить, и воспитывать внуков. Мне было восемь лет, я ходил во второй класс, брату Гене, родившемуся в день похорон отца народов, – два с половиной. Правда, Гены могло бы и не быть, если бы... Нам троим и до его рождения было не слишком просторно на четырнадцати квадратных метрах. И второго ребенка родители никак не планировали. Но, как говорится, человек предполагает... Когда мама узнала, что беременна, в семье произошел некоторый переполох. Мало того, что тесно, так еще и небогато: на одну папину зарплату. Надо было выбирать: рожать или... Между жизнью и обстоятельствами. Для моей совестливой мамы это был тяжелый выбор. Хотя поначалу, сгоряча, выход, казалось, был один: не рожать. С этими мыслями она пошла к докторам. Но не в поликлинику, а к жившим в нашем дворе супругам

по фамилии Гусман. Он был хирургом, она – гинекологом. Возможно даже, что пошла со мной, я точно помню, что был в этой небольшой отдельной квартире, помню комнату с приглушенным светом и красный диван, на котором мы сидели. Там все и решилось. Папа возражать не стал, и через некоторое время у меня появился брат. И ничего, прожили мы на Марата вчетвером, а потом и впятером, еще десять лет.

Не помню уже, когда и кто (скорее всего, мама) рассказал мне историю Гениного рождения, но история эта, родителями не забытая, мне кажется, оставалась в их душах до последнего дня. Никогда у нас не было в семье разговоров о том, кто любимый сын, а кто не очень. Но оставались еще такие понятия, как желанный и нежеланный. И чувство некой вины перед младшим сыном, может быть, и не очень остро осознаваемое, преследовало их до конца дней...

Так или иначе, но в ноябре 55-го нас было пятеро.

В архивной справке, выданной мне в 2015 году обаятельной и любезной сотрудницей паспортного стола на улице Рубинштейна, 8, стоит дата: 06.12.1955. Это день бабушкиной прописки, день, в который она вновь обрела свой законный дом, стала ленинградкой. Так совпало, что в этот же самый день Военным трибуналом Северо-Кавказского военного округа было вынесено Определение № 2071: «Приговор Военного трибунала войск НКВД Краснодарского края от 22 сентября 1943 г. в отношении Ефремовой Ксении Герасимовны, как необоснованный, отменить и...немедленно освободить ее со спец.поселения». Выносившие это Определение два полковника и подполковник юстиции не знали, видимо, что еще 17 октября Ефремова К.Г. получила справку об освобождении из ссылки по амнистии, а 4 ноября, на основании этой справки, Семиозерным РОВД ей был выдан паспорт гражданина СССР.

Какого числа бабушка прибыла в Ленинград, я не знаю, но было это где-то посередине между этими датами – 4 ноября и 6 декабря, но точно не 20-го. Потому что 20-го, в воскресенье, мы ходили всей семьей на экскурсию в метро, чтобы впервые прокатиться от Площади Восстания, в 15 минутах ходьбы от нашего дома, до Автово и обратно, выходя на каждой станции для знакомства с новым видом транспорта, который «всех седоков околдовал» еще в 1935 году, когда москвичи впервые поехали «от Сокольников до Парка на метро». Это был первый выходной (субботы тогда были рабочими днями) после торжественного открытия Ленинградского метрополитена, которое случилось 15 ноября. Была ли бабушка с нами в тот день, не помню. Помню только длиннющую очередь, обвивавшую новое здание станции метро Площадь Восстания, построенное на месте снесенной в 1941 году Знаменской церкви.

Ехали все не по делам, просто – посмотреть! Всем не терпелось спуститься по эскалатору и войти в голубой вагон. Но для этого надо было сначала отстоять очередь, купить по 50 копеек за штуку билетика с голубой буквой М (жетоны и турникеты появились в 1959 году, а с 1961 года, после денежной реформы, и до 1991-го вместо жетонов использовались 5-копеечные монеты),



Площадь Восстания (до 1918 г. – Знаменская) со Знаменской церковью и памятником Александру III, над которым современники немало потешались и который позднее, с легкой руки Демьяна Бедного, обозвали Пугалом. Фото конца 1930-х годов

через несколько месяцев, уже в 1956-м. Теперь (сентябрь 2018 года, когда я заканчиваю эту книгу) в нашем метро (в конце советских времен – Ленинградском ордена Ленина метрополитене имени Ленина) 69 станций. Есть Московская, есть Бухарестская, есть Петроградская, наконец. Нет только станции Ленинградской...

В нашем жилом пространстве с приездом бабушки произошли изменения. На месте детской кровати появился полутораспальный пружинный матрас, положенный на чурбаки. За последними дело не стало: отопление было печное, и у нас с соседями Курчиками во дворе, прямо под нашей квартирой, был свой дровяной подвал. Дровами были забиты все подвалы под домом, за исключением одного, в котором находилось полузаброшенное бомбоубежище. Горы дров – место наших игр в Максима Перепелицу, лежали на переднем и заднем дворах. А в нашей комнате, в углу напротив двери, стояла круглая печка. Дверь была наискосок – срезала угол комнаты, а над ней в результате такой планировки образовалась



Станция метро Автово в один из дней, с 5 по 9 ноября 1955 года, когда в метро пускали еще только по пригласительным билетам, которые раздавались по предприятиям и учебным заведениям. За эти дни метро успели посетить около 400 000 ленинградцев.

<http://proezdmetro.ru/246.html>

а потом предъявить их нарядному, в новенькой форме, контролеру. Самое сильное впечатление, насколько помню, производили на всех колонны из литого стекла на станции Автово. Ими можно полюбоваться и сегодня.

Во время первой поездки мы выходили на каждой станции, осматривали ее, и только потом ехали до следующей. Всего станций на первой линии было 7: Автово, Кировский завод, Нарвская, Балтийская, Технологический институт, Владимирская и Площадь Восстания. Пушкинскую открыли

небольшая треугольная антресолька, которая была в нашем тесном пространстве далеко не лишней.

В простенке между дверью и печкой висел, еще, наверное, с 30-х годов, круглый черный громкоговоритель, помнивший стук блокадного метронома, голоса Ольги Берггольц и Юрия Левитана. До появления первого в квартире КВН-49, смотреть в малюсенький экран которого к половине восьмого вечера приходили к нам все наши соседи, радио (слово это в малые года казалось мне весьма странным: радива – намного лучше!), эта черная тарелка, была единственным средством связи с миром. Из нее звучали последние известия, оперы и концерты, любимая всеми передача «С добрым утром» и даже шум ночной Москвы перед боем курантов в полночь. Но куда больше боя курантов я любил детские передачи. Хитом, извините за выражение, была «Угадайка» (с песенкой: «Угадайка, угадайка, интересная игра...»), в которой дедушка с внуком и внучкой предлагали в художественной форме различные загадки, а письма с ответами ребят приносила почтальон Маруся («К нам идет, к нам идет, почтальон Маруся!»). Запомнились познавательный «Клуб знаменитых капитанов», разнообразные инсценировки детских книг. Позже я стал слушать «Пионерскую зорьку» из Москвы и «Пионерский вестник» ленинградского радио. Одно время у меня даже было общественное поручение: в течение недели слушать «Зорьку», а потом в классе делать обзор самого интересного, услышанного из тарелки. Эту забаву, вместе со стенной газетой, можно считать, наверное, моим первым журналистским опытом. Впрочем, это, «как говорит наш бухгалтер», уже «совсем другая песня».

Вернусь в нашу комнату, в самое теплое ее место, к горячей круглой печке, для которой мы каждый день таскали из подвала напиленные и нарубленные осенью дрова (их привозил грузовик, сваливал у подвала, во дворе, потом их пилили и кололи; в последние годы, когда я подросток, справлялись сами, а пока был маленьким, занимали у Кузнечного рынка мужиков-«дровосеков»: они стояли там парами с самого раннего утра, со своими топорами и обмотанными вокруг пояса двуручными пилами). Вслед за печкой вдоль правой стены стояла оттоманка, на которой спали родители и на которой я играл и читал свои первые книжки, пока был маленьким, дальше – бабушкин матрас, и за ним, в торце комнаты, – окно. Когда к нам приходили гости, они пер-



КВН-49 – телевизор нашего детства



Родительская оттоманка. За занавеской видна печка

бабушка, а рядом с ней, у стены – Гена, лишившийся с приобретением матраса персональной металлической кровати, сделанной дедом Борисом еще для меня и доставшейся ему по наследству. А у другой стенки, напротив, за уже упоминавшимся шкафом, на «колбасе», было оборудовано спальное место для меня. Кто придумал это остроумное название, не помню, но состояло это колбасное изделие из четырех стульев, покрытых старым ватным одеялом, и проспал я на нем несколько лет. Зато у меня был свой однотумбовый письменный стол, стоявший у окна, за ним я делал уроки и писал первые стихи. В ближней части комнаты слева, перед шкафом, напротив оттоманки, стоял обеденный стол.



Гена в кровати, сделанной дедом Борисом. Начало 1954 года

вым делом стучали в окно, и мы, как нынче в видеокамеру, видели сразу, кто пришел. А потом уже гости шли под арку, где был вход в квартиру, а мы шли им открывать. Хотя открыть наш замок можно было и без помощи изнутри – обыкновенной двухкопеечной монетой. Это днем, но ночью-то мы запирались на солидный крюк.

Так мы жили: между печкой и окном. На новом матрасе теперь спала

И еще одна деталь интерьера нашей комнаты, художественная: над моей колбасой на стене висела копия картины Василия Перова «Охотники на привале», не репродукция, а копия, сделанная папой еще до войны, и даже до призыва в армию в 39-м году, наверное, когда он учился на рабфаке или в архитектурном институте. Куда делась потом эта картина – не знаю. Исчезла, как и бабушкин

черный чемодан. Все, что осталось от папиных работ – две карандашные зарисовки военных лет. С первого курса, в ноябре, за считанные дни до начала Финской войны, его забрали на срочную службу, которая растянулась на шесть лет и на три войны. Третья – Японская, в которой они с мамой принимали самое непосредственное участие. После войны время было тяжелое, в 47-м родился я, и с учебой ни у папы, ни у мамы, которая закончила школу в 41-м с отличием, так и не сложилось. Папа стал фотографом, а с живописью – как отрезало. Он был человеком принципиальным, до вспыльчивости. Любителем, видимо, быть не хотел. И живопись ему заменила фотография. А кисть и краски художника – остро отточенный кохиноровской карандаш, маленькая колонковая кисточка и кусочек черной туши. Он брал «халтуру» и по вечерам



Гриша и Гена. Начало 1954 года



ретушировал негативы на складном деревянном станочке (чем не мольберт), который ставил после ужина на обеденный стол.

Мой дед Борис, слышал я такой разговор, предлагал вроде бы папе помочь материально и дать возможность закончить институт, но при одном условии: чтобы он развелся с мамой. Не потому, что деду не нравилась невестка, а потому, что считал, что еврей должен жениться на еврейке. (К тому же, дед наверняка знал к тому времени, что русская жена его старшего сына еще и дочь врага народа. Хорошенький выбор!) Папа отказался. Принцип на принцип. Упрямство, иногда до глупости – наша

Для трехметровой елки, в самый потолок, в нашей маленькой комнате всегда находилось место. За елкой – «Охотники на привале». А стул, на котором я стою, станет через несколько лет фрагментом «колбасы»

фамильная черта. Но дед его решение принял, никогда не попрекал, и в последующие годы, чем мог, помогал нашей семье. Впрочем, обо всем об этом, о моих еврейской и русской ветвях, в которых я блуждаю и путаюсь всю жизнь, речь впереди. Как и о том, когда и почему мы оказались в нашей комнате на Марата, в первом этаже дома, построенного в 1884 году академиком архитектуры Н.П. Басиным.

memoria

Улица Марата – крупная трасса Центрального (в 1950-е годы – Фрунзенского) района Санкт-Петербурга. Проходит от Невского проспекта до Подъездного переулка.

В 1739 году улица называлась Преображенской Полковой, поскольку власти собирались тогда продолжить магистраль от Разъезжей улицы до нынешней Кирочной. А поскольку близ Кирочной квартировал Преображенский полк, имя было подходящим. Однако в реальности улица разделилась на две: нынешние Марата и Маяковского.

Преображенская улица существовала до конца XVIII века. Но в это время было у нее и другое название – Грязная улица. Этимология «грязей» не ясна, ибо вряд ли она была грязнее других. Тем не менее, продержалось это название около шести десятилетий.

Позже, в октябре 1856 года, после смерти Николая I, улицу переименовали в Николаевскую.

В 1917 году особая комиссия Временного правительства решила убрать с карты города имя Николая I, и Николаевская на некоторое время стала проспектом Двадцать Седьмого Февраля – в честь победившей революции.

В октябре 1918 года, когда сменившая Временное правительство Советская власть обновляла городскую топонимику, проспект стал улицей Марата – в честь французского революционера Жана Поля Марата, это имя она носит и поныне.

memoria

В квартире, кроме кухни, было пять комнат (соответственно – пять семей) и – ванная! А в ней – большая ванна с дровяной колонкой. Конечно, не «белес лунного света», как у Маяковского, а коричневая, с желтыми разводами – но кто на это обращал внимание. Она работала, и это избавляло нас от еженедельных ритуальных хождений в бани (Воронежские на одноименной улице или Ямские на Достоевского, до той и другой было минут семь ходьбы) и было предметом зависти жильцов других квартир.

Рядом с нашей была комната белорусов Курчииков: дядя Жора, завгар на каком-то заводе, его жена тетя Таня, домохозяйка, и их дети, Валя и Толя. Валя с 1954 по 1958 год училась в Академии художеств на архитектора, а перед тем окончила строительный техникум, куда, не на занятия, конечно, иногда брала меня, еще дошкольника, и мы ехали с ней на трамвае «учиться» – куда-то в сторону Измайловского проспекта. В Академии Валентина познакомилась с Анатолием Лазаревым, они учились вместе, а когда женились, Толя переселился в нашу квартиру. Курчиики-старика к тому времени умерли, и



Подпись на обороте: Моим Нянькам От Тани

они жили в одной комнате с Толей-младшим, а потом и тот женился, а потом у Толи с Валей родилась Таня, и они тоже стали жить в одной комнате впятером, как и мы. Теперь уже я иногда нянчился с Таней, как когда-то Валя со мной. От Курчииков – Лазаревых сохранилась лишь одна фотография, подаренная Таней.

А незадолго до Тани

был Пунтик. Валя со студенческой делегацией угодила за границу, в Прагу, и там ей подарили щенка бедлингтон-терьера, похожего на голубого ягненка. Это была первая собака в моей жизни, с которой, как с дворняжкой, я гулял во дворе и по ближайшим улицам. С «дворняжкой», которой не было цены: таких собак в то время на весь Ленинград было несколько штук. К сожалению, собачья идиллия продолжалась недолго. Родилась Таня, и Пунтику уже не было места в комнате Курчииков. Его продали некой даме с претензией, «из бомонда», и Пунтик зажил в новой квартире подобающей такому псу почти человеческой жизнью. С парикмахером, маникюром и прочими совершенно несобачьими по тем временам прелестями.

Толя Лазарев был не только красавцем (как и Валя – красавицей), но и очень разносторонним человеком, писал маслом (его копия с картины И. Шишкина «Утро в сосновом бору», которую в народе называли «Мишки на лесозаготовках», висела в коридоре квартиры), был артистом кукольного театра в Академии. Он приносил домой, подремонтировать, огромных тростевых кукол и показывал нам их устройство. Мы с ним много общались, а по вечерам играли на кухне в табуреточный хоккей. Между ножек перевернутой табуретки ставилась большая картонная коробка из-под фотобумаги, которая становилась коробкой хоккейной. В ее дне мы проделывали щели, в которые снизу вставляли сделанные из алюминиевой толстой проволоки клюшки. Шайбой была обычная стирательная резинка.

Только, Курчик-младший, едва закончив семилетку, подался в ремесленное училище (оно же – ремесло или ремеслуха), а потом оказался на радиозаводе. Насколько не шли ему, послевоенной шпане, в голову школьные науки, настолько способным он оказался к радиотехнике, будто от природы в голове его уже сидела какая-то схема. Он и после работы вечно сидел в углу комнаты в канифольном дыму и что-то собирал, паял, а потом вдруг получался

телевизор – второй в квартире после нашего, потом другой, с гораздо большим экраном, потом радиоприемник, потом магнитофон (магнитофон, правда, он собрал уже в достаточно зрелом возрасте, будучи женатым. Подвыпив, он развлекался: склеивал небольшой кусок ленты и пускал по кругу, записав какой-нибудь текст, например, «Люська дура!», потом включал звук на полную катушку, открывал дверь в коридор и вся квартира наслаждалась его радостно повторявшимся воплем «Люська дура! Люська дура!..». Все смеялись, включая Люську, его молодую жену)...

А во дворе еще все помнили, что в нашей квартире живет Кура, лучший друг Хрыча, бывшего предводителя дворовой шайки. Что они вытворяли, в какие азартные игры играли, с кем объединялись, собираясь походом на лиговских, об этом я рассказать не могу, это была эпоха первых послевоенных лет. Теперь у нас во дворе была новая компания и другие игры: прятки, в том числе и по подвалам, пятнашки, штандер, казаки-разбойники (с выбеганием на Круглый, бывший Ямской, рынок), футбол-хоккей, ну и, конечно, фантики и ножички. К играм на деньги мы были равнодушны, победа была важнее любой наживы, и такие игры, как пристенок, например, в нашей компании не прижились. Хотя пробовали мы все, что тем или иным ветром заносило в наш двор: и тот же пристенок, когда монета ударялась ребром в стену дома и должна была упасть как можно ближе к лежащей на земле монете противника, и в расшибалочку (чику), когда монеты всех игроков ставились столбиком и нужно было своей битой (у каждого была, как правило, своя, заветная, лучше всего из свинца) разбить эту пирамидку, и в орлянку, где нужно было просто-напросто угадать, на какую сторону упадет подброшенная монетка – на орла или решку. В орлянку теперь, по-моему, играют только футбольные судьи, подбрасывая монету или специальный жетон перед игрой, когда капитаны команд должны выбрать, кто начнет игру и какая половина поля кому достанется.

Здесь же мы получали первые уроки параллельного образования, вмещавшего в себя широкий спектр ненормативной лексики, то бишь мата, начальных знаний о сексуальных отношениях и самый разнообразный улично-народный фольклор. Из кладовых моей памяти до сих пор нет-нет да являются, к месту и не к месту, какие-то фразочки, стишки или обрывки блатных песенок, которые запоминались походя, на слух, с первого-второго раза («Хорошо тому живется, у кого стеклянный глаз. Он не колется, не бьется, и сверкает, как алмаз!»). Чего не скажешь о школьных стихах, которые постигались и выучивались со скрипом (мозгов): обязателька вызывала отторжение. Если бы я услышал от кого-то во дворе «Вот бегают дворовый мальчик, в салазки жучку посадив, себя в коня преобразив...», я бы это запомнил сразу. Но учить по учебнику было скучно. То ли дело: «В неапольском порту, с пробоиной в борту...!» Впрочем, теперь это уже классика, ее поют барды, причем, у одного порт, как у нас, неапольский, у другого кейптаунский или еще бог весть какой. Или вот: «Задумал я, братишечки, жениться. Жену себе хоро-

шую нашел. Она была веселая, как птица, я в тот же день расписываться шел. Одна нога была у ней короче, другая деревянная была. Я часто-часто плакал среди ночи: зачем меня ты, мама, родила?». Или: «Граждане, послушайте меня. Гоп со смыком – это буду я. Ремеслом я выбрал кражу, из тюрьмы я не вылажу, и тюрьма скучает без меня. Завтра улетаю на Луну, и с собой я девочку возьму. Пусть она крива-горбата, но червонцами богата, и за это я ее люблю...». Часто появлялись «кричалки» с незамысловато сочиненными словами на известные мотивы, даже джазовые: «Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анжелос объединились в один колхоз. Колхозный сторож Иван Кузьмич с навозной кучи бросает клич...». На слуху, конечно, была и знаменитая одесская песенка «На Дерибасовской открылась пивная, там собиралась компания блатная...» про сутенера Ваську-Шмаровоза, его шмар Марусю, Розу, Раю и их пылких приятелей Арончика и Моню. Причем, до нас эта песня дошла от старших товарищей в наиболее, наверное, похабном из всех имевшихся вариантов. Самым приятным был куплет про Арончика: «И приходил туда Арончик, славный мальчик, который ездил побираться в город Нальчик. Он возвращался на машине марки Форда, и шил костюмы элегантней, чем у лорда... И так далее. Если продолжать – получится веселая детская книжка. И название есть: «Чувих мы клеим столярным клеем!».

Многими годами позже я случайно узнал, что наша любимая «На Дерибасовской» якобы никакого прямого отношения к Одессе-маме не имеет, и что родилась она в Ростове-папе, и называлась «На Богатынской», той, что сегодня именуется проспектом Богатынский Спуск. Кто тут правее, кто левее, пусть разбираются историки блатного творчества, ныне деликатно переименованного в шансон, а мы, случись что, и теперь, в свои семьдесят, будем петь «На Дерибасовской»...

Улица быстро и живо откликалась на события дня, не отставая от юмористов-куплетистов с девизом «Утром в газете – вечером в куплете» (Миров и Новицкий, Шуров и Рыкунин, Рудаков и Нечаев) – детство прошло под их песенки из телевизора и с пластинок). Мы тут же пересказывали друг другу услышанные от других ребят или от взрослых куплеты, анекдоты или частушки. Подаренный Советскому Союзу англичанами после войны фильм «Багдадский вор» оставил после себя анекдот с песенкой, которую мы пели в довольно еще нежном возрасте. Американец, пришедший в кино в шерстяных штанах, на выходе оказался в одних трусах: сидящая рядом бабушка, зацепившись за ниточку, распутала made in USA и смотала в клубочек. Американец пишет жене: «Ах, Мэри, Мэри, Мэри! Как плохо в Эссэре. Пока смотрел “Багдадский вор”, то русский вор кальсоны спёр!»... Целая серия частушек пошла гулять по стране после ликвидации опасного шпиона и врага народа Лаврентия Берии. Видимо, 6 лет – уже довольно сознательный возраст, и я помню многие из них до сих пор. Начинались они почти все одинаково: «Берия, Берия, потерял доверие...», а дальше шли варианты: «Не хотел сидеть в Кремле, так лежи в сырой земле!» или «И товарищ Маленков надавал ему пинков».

Не надо забывать, какое это было время: совсем недавно закончилась война, из средств массовой информации были только радио и газеты, а ума мы могли набираться лишь из кинофильмов, книг, пионерских журналов, в школе да во дворе. Теперь все это заменили смартфоны и компьютеры, а такое понятие, как «двор», как сообщество детворы, живущей в одном доме, новым поколениям просто неизвестно. Даже во дворах-колодцах старого бывшего Ленинграда. Дети XXI века зачастую глухи, не чутки к живому слову и больше полагаются на экраны и наушники. Мы же и видели, и слышали друг друга, и кое-что запоминали.

Со временем тематика и география наших увлечений расширялась. Зимой, классе уже во втором, мы ходили по вечерам на улицу Достоевского кататься на «снегурках», которые привязывали к валенкам. Потом переобулись в «хоккейки» и «канадки» и перебрались на стадион «Локомотив», который был здесь же, на Марата, в пяти минутах от дома. Когда я подрос до 40-го размера, примерил, чудом сохранившиеся с довоенных времен, папины беговые коньки. Папа приходил на каток и давал мне уроки, а я, стараясь не упасть, нарезал солидные круги вокруг финтивших в центре катка дворовых друзей Кольки Антонова и Тольки Шорникова.

Лет с 10–11 стал ездить на стадион имени Кирова, на футбол. С отцом, с двоюродным братом Мишей, который был старше меня на год, или с двоюродными пацанами. Ехали – когда на трамвае, когда на автобусе. По Марата ходили пять трамваев, один из них – 34-й, шел до Приморского парка Победы, кольцо было прямо в парке. К нам трамвай приходил уже достаточно забитым болельщиками, но мы как-то втискивались и около часа тащились на нем по Колокольной, Литейному, мимо цирка на Садовую, через Кировский мост, по проспекту Максима Горького до улицы Олега Кошевого (теперь Введенской) и дальше, через всю Петроградскую сторону, на Крестовский остров. Или, как тогда говорили, на Кировские острова. А веком раньше – просто Острова: Крестовский, Каменный и Елагин.

Известные строки Самуила Маршака, написанные в 40-е послевоенные годы, это про нас, про знакомые с детства места:

*Давно стихами говорит Нева.
Страницей Гоголя ложится Невский.
Весь Летний сад – Онегина глава.
О Блоке вспоминают Острова,
А по Разъезжей бродит Достоевский.*

Разъезжая была за углом, наша улица начиналась от Невского, на Острова мы ехали на футбол или в ЦПКО, ну, и так далее...

Второй путь – автобусом № 45. Его кольцо было на Звенигородской, и уже там стояла очередь. Автобус шел по Марата до Невского и дальше на Петроградскую, до моста перед ЦПКО, который соединяет Крестовский и Елагин



На футбол!

острова. Оттуда путь до стадиона был вдвое длинней, чем от трамвая. Но никого это не смущало. Главное – доехать, а пройтись по парку – одно удовольствие. Все пути от автобусов и трамваев сходились в центре парка, у клумбы с большой вазой, похожей на ту, что стоит в Летнем саду (теперь место вазы занял фонтан). И уже оттуда – прямой путь к стоящему перед стадионом памятнику лучшему другу ленинградских болельщиков и петербургских фанатов Сергею Мироновичу Кирову. А потом вверх – по нескончаемым ступеням, чтобы очутиться, наконец, у ограждения трибун с проходами на сектора, и оттуда глянуть на пустую еще и, не побоюсь этого слова – изумрудную арену внизу, с белыми очертаниями футбольных ворот и кирпичным овалом беговых дорожек. Над стадионом развивались разноцветные флаги, играла музыка, чередой стояли киоски с мороженым и лимонадом, с пирожками и бутербродами. Это был праздник! Многие приходили на стадион семьями, а то и по несколько семей, чтобы после матча отправиться всем вместе к кому-нибудь домой и вскладчину завершить праздничные гуляния.



Стадион медленно, но уверенно заполнялся, нередко – под завязку. А вмещал он до 100 тысяч зрителей. Самым ярким был день 2 мая – открытие сезона, с речами и физкультурным парадом. Это

Сергей Миронович Киров приветствует болельщиков



На стадионе – яблоку негде упасть. 1960-е годы

был, как правило, второй тур. А первый «Зенит» обычно играл на выезде, где-нибудь

Программка матча «Зенит» – ЦСКА, 9 мая 1965 года

на юге – с тбилисским или киевским «Динамо», «Пахтакором» или «Араратом»... Звучал футбольный марш Матвея Блантера, написанный в 1938 году по просьбе основоположника спортивного репортажа Вадима Синявского, и на поле выбегали команды. Мы уже сидели на своих местах, на длинных, опоясывающих стадион, деревянных скамейках, и глядели во все глаза: как бы чего не пропустить. До «повторов моментов» на цветных экранах было еще далеко. На простейшем, «механическом» табло – названия команд и черные нули. У нас программки – сложенный вдвое листок, и мы уже знаем составы. Надо разглядеть каждого. Ну, Востроилова в черном свитере видно сразу. Рыжий, обожаемый ленинградцами, Бурчалкин-выручалкин, хоть и роста небольшого (170 см), тоже на виду. Вот и остальные выстраиваются по полю: Гек, Данилов, Рязанов, Храповицкий, Васильев, Дергачев, Завидонов... Каждый на своем месте. До 61-го года играли по системе «дубль-вэ»: три защитника, два полузащитника и пятеро нападающих. Именно так располагались игроки и на поле настольной игры, в которую мы играли дома. Позже все стали переходить на прогрессивную бразильскую систему 4–2–4...

memoria

«Зенит» и Бурчалкин. Бурчалкин и «Зенит»... Для ленинградского футбольного болельщика 1960-х это были слова-синонимы. И в этом нет ни капли преувеличения – именно этот невысокий рыжеватый парень покорила сердца взыскательных питерских трибун, именно он стал настоящим любимцем футбольного Ленинграда, хотя и играл он, особенно в начале своей долгой карьеры, в окружении весьма ярких и заметных мастеров.



Бурчалкин атакует

Бурчалкин не обладал вычурной техникой Рязанова, не был непредсказуем и молниеносен, как Храповицкий, и в скоростных данных, пожалуй, уступал реактивному Васильеву. Но были у него свои козыри, свой неповторимый стиль, тот, который и помог ему завоевать искреннюю, непреходящую любовь болельщиков «Зенита».

Пожалуй, именно к его игре наиболее точно можно применить термин «дворовый футбол». И в этом ни в коем случае нет ничего уничижи-



Лев Бурчалкин

тельного. Просто была в игре Льва Бурчалкина такая беззаветная страсть, такой энтузиазм, такой бесшабашный азарт и увлеченность, каких в матчах команд мастеров и тогда встретить можно было нечасто, а по нынешним временам и подавно. Только мальчишки, часами, до полной темноты гоняющие во дворе мяч, способны столь самозабвенно и безоглядно отдаваться любимой игре...

Всего за «Зенит» в 1957–72 гг. Лев Бурчалкин сыграл 423 матча (из них в чемпионате 402 матча — абсолютный клубный рекорд), забил 82 гола.

Лучший бомбардир «Зенита» в сезонах 1961–63, 65, 69 гг.

Заслуженный тренер России.

Капитан «Зенита» в 1963–64, 1967–71.

Дмитрий Догановский

memoria

Болели громко, сотысячный стадион то взрывался и ревел, то замирал, то облегченно выдыхал, когда «проносило». Это была стихия, без заранее подготовленных акций и провокаций, без труб и барабанов, без, извините за выражение, баннеров и файеров. И без драк на трибунах. Хотя и подшофе народу было прилично. Стихии праздника позже, уже на «Петровском», пришлось на смену богато разукрашенное и затейно организованное пиршество буйства и разнузданности. Слов, однокоренных со словом «культура», я просто не стану употреблять. Нас, детей 11–12 лет, родители спокойно отпускали на стадион, не боясь, что кто-то обидит, тем более – избыет. Да и в целом, надо сказать, жизнь в городе была гораздо безопасней, чем ныне. Никто не водил нас за руку в школу, в кино или в Дом пионеров, гуляли мы тоже самостоятельно, и родители далеко не всегда знали о наших планах. Потому что было в жизни больше порядка и меньше того самого хаоса, который теперь лукаво называется демократией.

Ездили мы, конечно, не на каждый матч, чаще по выходным. Будние дни были заполнены школой, кружками, спортивными секциями, играми во дворе, для путешествия на стадион времени не хватало: все-таки часа два туда, часа два с половиной на футбол, и еще не менее двух – обратно. Но! – в наших квартирах уже был телевизор, и были футбольные репортажи Виктора Набутова, человека если не великого (теперь каждого попугая, орущего из телевизора, или посредственного футболиста, из которого «лепят» нового Пеле, принято называть если не великим, то хотя бы звездой. Звезды эти так и сыплются с небес на брентную землю, но память о них лет через десять сохраняется разве что среди ближайших родственников), то – легендарного. Сегодня все знают Геннадия Сергеевича Орлова. В 60-е все знали его предшественника Виктора Сергеевича Набутова. А папа мой знал его лично.

На Зимнем стадионе работал папин приятель, если не ошибаюсь, даже одноклассник – Сергей Румянцев. Насколько помню – был он заместителем директора. Папа к нему нередко заходил: то за контрамаркой (тогда на

Зимнем часто проводились и самые разнообразные соревнования – по боксу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, и большие концерты; в 62-м, например, папа с мамой ходили на знаменитого Бенни Гудмена), а то и без дела. А когда «без дела», тогда на столе появлялась, разумеется, бутылочка. И третьим иногда становился Виктор Сергеевич, человек их поколения, который заглядывал на Зимний и по долгу службы, и на огонек. Тем более – здание радиокомитета, где он регулярно бывал, находилось в ста метрах, только Манежную площадь перейти.

Слушать репортажи Набутова – баскетбольные по радио, футбольные из телевизора – это было наслаждение. Прекрасная речь, тонкое знание всех нюансов игры, неожиданный юмор. «...Проходит по центру, бьет!.. Да-а, вот если бы на эти ворота поставить вторые, а потом еще одни, мяч лег бы точненько в правую девятку...». Я надеюсь, что найдется автор, который об этом легендарном и героическом человеке напишет книгу. Он того достоин. Ограничусь фрагментом из Википедии, в надежде, что этот текст отредактирован его сыном Кириллом.

memoria

Виктор Сергеевич Набутов. 28 марта (10 апреля) 1917, Петроград – 19 июня 1973, Ленинград – советский футболист (вратарь), впоследствии – радио- и телекомментатор.

С детства занимался спортом, играл в теннис, баскетбол, бильярд. Выступал за сборные Ленинграда по футболу, баскетболу, волейболу, хоккею с мячом и легкой атлетике. В 17 лет получил звание мастера спорта по волейболу.



Виктор Сергеевич Набутов

После убийства Кирова семья Набутовых была сослана в Оренбург, а глава семейства Сергей Григорьевич был расстрелян по ложному обвинению. В 1936 году Набутов был вызволен из ссылки руководителями спортобщества «Динамо» и в 1937 играл в чемпионате СССР по футболу за ленинградское «Динамо». В 1938–1939 годах Набутов выступал за команду «Электрик», с которой вышел в финал Кубка СССР в 1938 году.

В 1940 году Набутов вернулся в «Динамо», где отыграл еще один, предвоенный сезон. Еще до начала войны окончил с отличием Ленинградский электротехнический институт. С началом Великой Отечественной войны он ушел на фронт, командовал бронекатером, воевал на Ораниенбаумском плацдарме. 31 мая 1942 года участвовал в «блокадном матче» между «Динамо» и командой Металлического завода, проходившем на стадионе «Динамо».

После войны Набутов вернулся в «Динамо» и играл там до 1948 года. В 1948 году, закончив играть из-за травмы, начал работу комментатора. Сначала он вел футбольные радиорепортажи, а с появлением телевидения стал телекомментатором.

В начале 1950-х годов Набутов записал цикл блатных песен. Записи стали распространяться, и дело дошло до суда. Набутов был оправдан, но уволен с работы.

Впоследствии он снова стал комментировать матчи, но в 1967 году был вновь отстранен от микрофона после сообщения о перебоях с финансированием строительства дворца спорта «Юбилейный».

Жизнь Набутова трагически оборвалась 19 июня 1973 года.

Похоронен на Серафимовском кладбище.

19 июня 2003 года в Санкт-Петербурге в день 30-летия смерти на стене дома № 3 по Пушкинской улице открыта мемориальная доска в честь Виктора Набутова.

memoria

Возвращаюсь к нашим будням. Дела у нас были не только во дворе. В теплое время компанией бродили по окрестным улицам, где знаком был каждый дом, каждый магазинчик, на копейки покупали в булочной горсть развесного монпансье или барбариса, изучали новые афиши кинотеатров, заглядывали в музей Арктики на углу Кузнечного переулочка, с подвешенным у самого входа к потоку самолетом Ш-2 (захватывающую историю создания этого самолета через много лет, в 2013-м, я прочту, готовя к изданию двухтомник Г.А. Копытова «Керберы. Фамильный код. XIV–XXI вв.», издательство «Петербург – XXI век»), с чучелами белых медведей и макетами ледоколов, рассматривая все это в обстановке царившего здесь северного безмолвия, общаясь больше жестами, чем шепотом, а потом, отодвинув тяжелую дверь, вырвавшись из зимы в звенящий трамваями солнечный день, бежали, в поисках острых ощущений, в самый конец нашей улицы, где, сразу за Звенигородской, отдельно от города существовал огромный пустырь – бывший Семеновский плац.

До войны здесь был ипподром, от которого после немецких обстрелов и бомбежек не осталось ни одного целого строения. Зато имелась огромная лужа, целое озеро, по которому можно было плавать на любых подручных средствах. Потом на месте этой лужи началось строительство нового ТЮЗа, который открылся в 1962 году, к 40-летию Всесоюзной пионерской организации имени (разумеется) В.И. Ленина, который, как нас учили, очень любил детей. Мне с одноклассниками удалось побывать там раньше других, еще до открытия театра, на субботниках по уборке мусора. А во время летней практики мы сажали кусты и деревья в будущем парке, который теперь окружает ТЮЗ. Прошло более полувека, и теперь в этом разросшемся старом парке ничто не напоминает ни о войне, ни о строевых смотрах Семеновского полка, ни о казни петрашевцев в декабре 1849 года, в числе которых был приговоренный к четырем годам каторги Достоевский (не случайно же Ямскую, находящуюся неподалеку, назвали потом его именем), ни, тем более, о другой страшной казни: именно здесь были повешены пятеро народовольцев, организаторов убийства царя Александра II: Желябов с женой – Софьей Перовской, Михайлов, Кибальчич и Рысаков. Катаясь на самодельных плотах, мы видели то, что видели, и даже представить

себе не могли, какие дела вершились некогда на месте этих развалин. В том числе и в годы войны, которая снесла плац-ипподром с лица земли. Вот короткая цитата из книги «Прожектористы – защитники Ленинграда», которую я еще буду не раз цитировать, когда речь пойдет о службе родителей в прожекторных войсках. Ее автор А.З. Прищепов служил в 1940–41 годах в одном с папой полку, а может быть, и в одной роте. *«В 1944 году наш полк по ленд-лизу получил первые два радиопрожектора английского производства РАП-150... Технику мы осваивали на ипподроме, жили в неотопляемом доме по соседству, там же стояла зенитная батарея. На этом месте теперь находится Театр юного зрителя».* Еще один штрих к истории Семеновского плаца, или, согласно современной петербургской топонимике, Пионерской площади. Теперь здесь, кроме ТюЗа, лицом к Загородному проспекту стоит памятник великому русскому писателю А.С. Грибоедову, автору, как принято говорить, бессмертной комедии «Горе от ума». Видимо, каждый пионер, идущий в театр, должен был вспомнить название данной пьесы и призадуматься...

memoria

Семеновский плац создан в конце XVIII – начале XIX веков на территории слободы лейб-гвардейского Семеновского полка в ходе строительства комплекса новых полковых казарм. Плац занимал участок между современным Загородным проспектом, Звенигородской и Рузовской улицами, на юге примыкал к Обводному каналу, вдоль которого был насыпан вал для полкового стрельбища. В XIX в. использовался для учений Семеновского и квартировавших по соседству лейб-гвардейских Егерского и Московского полков.

В 1830-х годах по западной стороне Семеновского плаца проложены подъездные пути Царскосельской железной дороги, близ Загородного проспекта возведено здание Царскосельского вокзала (в 1902–04 гг. на этом месте построен Витебский вокзал).

22 декабря 1849 г. на Семеновском плацу совершен обряд гражданской казни над петрашевцами, 22 февраля 1880 г. повешен революционер народник И.И. Млодецкий, совершивший покушение на министра внутренних дел М.Т. Лорис-Меликова, а 3 апреля 1881 г. здесь были казнены народовольцы С.Л. Перовская, А.И. Желябов, Н.И. Кибальчич, Т.М. Михайлов и Н.И. Рысаков.

В 1880 г. на восстановленной половине Семеновского плаца создан ипподром «Общества охотников конского зимнего бега». С 1884 на ипподроме проводились соревнования велосипедистов, 12 сентября 1893 прошел первый в Петербурге футбольный матч. Западная часть плаца (между ипподромом и железной дорогой) с 1898 стала местом праздничных народных гуляний (переведены сюда с Марсова поля). На рубеже 1950–60-х гг. на месте разрушенного во время войны ипподрома создана Пионерская площадь.

По материалам энциклопедического справочника «Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград». – М.: Большая Российская Энциклопедия, 1992.

memoria

Новый ТюЗ для нашего поколения так и не стал своим. Нашим ТюЗом остался старый брянцевский театр на Моховой. «Два клена» по сказке Е.Л. Шварца, «В садах лицей» с Евгением Шевченко в роли Пушкина – незабываемы. А в новый, пережив эпоху взросления, мы ходили уже со своими детьми... Кстати, теперь иногда опять бываем в старом, учебном, отданном театральному институту, чтобы посмотреть на нынешних студентов. Вот такой поворотный круг.

Взгляните на карту города и представьте себе улицу Марата в облике человека с цилиндром на голове и в резиновых сапогах. А между ними, сверху донизу, одеяния, символизирующие моду нескольких эпох, вместе с невскими ветрами пронесшихся над нашей центрально-провинциальной улицей. Резиновые сапоги – чтобы не утонуть в той самой луже на бывшем ипподроме, из эпохи 50-х годов прошлого века. Вместо цилиндра, упирающегося в парадный Невский, можно представить себе любой другой убор из дорогих магазинов энд бутиков. Да и резиновые сапоги улица наша носила недолго. Начиналось-то все с печатавшего шаг военного сапога, а нынче здесь, в парке с ТюЗом и океанариумом, совсем впору выходные туфельки.

Если же взять улицу имени якобинца и «друга народа» (первого из вождей, друживших с народом) Жана-Поля Марата в ретроспективе историко-литературной, то можно смело назвать ее Бунтарской, или, по контрасту, проспектом Царской милости. Потому что, в отличие от Марата, заколотого кинжалом, без суда и следствия, в собственной ванне дворянской женщиной Шарлоттой Корде, приговоренные к смертной казни и высочайшим образом помилованные россияне Радищев и Достоевский, в итоге, ушли из жизни без посторонней помощи. Подошло бы и не менее смелое название: улица Скорби. Достаточно добавить в начатый список Пушкина, получившего пулю на дуэли, или Горького, отравленного, по слухам, врачами лучшего друга советских писателей. И еще и еще...

Александр Николаевич Радищев, кстати, счастливо проживал со своим семейством здесь же, на Николаевской, в доме № 14. До тех пор, пока не написал и не отпечатал на купленном специально для этого случая станочке крамольные «Путешествия из Петербурга в Москву». За 9 лет до рождения Александра Сергеевича, который впоследствии неоднократно проделывал этот путь между столицами туда и обратно и имел право отнестись к сочинению предшественника весьма критически: *«Путешествие в Москву, причина его несчастья и славы, есть, как уже мы сказали, очень посредственное произведение, не говоря даже о варварском слоге. Сетования на несчастное состояние народа, на насилие вельмож и проч. преувеличены и пошлы...».* Вот так! Но Пушкин не был бы Пушкиным, если бы из-под его пера не вышли и другие строки: *«Вослед Радищеву восславил я свободу и милосердие воспел».*

Знал ли Пушкин, направляясь от дома № 25, что на углу Кузнечного, в сторону Невского, и проходя (или проезжая) мимо 14-го дома, что здесь жил Радищев? Думается, размышлял об ином: как примирить сестру Ольгу с отцом и мате-

рю – Сергеем Львовичем и Надеждой Осиповной. 30-летняя Ольга, вопреки воле родителей, имела несчастье тайно обвенчаться с небогатым дворянином Николаем Павлищевым, и на долю любимого брата Александра была возложена миссия примирения. Теперь этот дом 25, где была квартира Павлищева, из-за установленной на нем памятной доски зовут «домиком няни» – Арины Родионовны Яковлевой, взрастившей два поколения Ганнибал-Пушкиных: Надежду Осиповну и троих ее детей – Ольгу, Александра и Льва. Да еще своих четверых родила. Последние месяцы жизни Арина Родионовна провела в семье Павлищевых, здесь, в возрасте 70 лет, она скончалась летом 1828 года.

Стены этого непримечательного двухэтажного особнячка, где ныне обитает редакция газеты «Санкт-Петербургские ведомости», предводимая главным редактором Дмитрием Юрьевичем Шерихом, можно было бы обвешать различными досками вдоль и поперек, и на всех была бы стандартная фраза: «Здесь бывал (а)...»: Максим Горький, Леонид Андреев, Александр Куприн, Тэффи, Александра Коллонтай... В начале XX века здесь находилась некая весьма невзрачного вида кухмистерская, которую «пишущая братия» почему-то выбрала для своих «банкетов» с обязательным поеданием рыбы лабардан, в переводе на современный – трески, особым способом приготовленной.

К чему бы это я упомянул здесь, да еще в такой компании, редактора «Ведомостей»? – резонно спросит читатель. Причины есть. Именно Д. Шерих – автор книги, посвященной улице моего детства – «По улице Марата». А первая его книга, тогда 24-летнего молодого человека, – «Городской месяцеслов», стала в 1993 году первой книгой издательства «Петербург – XXI век», и я имел честь эту книгу редактировать. А еще в этой газете трудится в должности редактора службы информации мой старинный приятель и коллега Сергей Владимирович Михельсон, вместе с которым мы в 1970-е годы работали в славном «Скороходовском рабочем».

Вот такие, если продолжать цитировать А.С. Пушкина, «странные сближения». Все смешалось на улице Марата... Но вернусь в нашу квартиру.

За комнатой Курчиков была комната Голуновых. Дядя Володя, тетя Нюра и их дочь с сыном Сережей, ровесником Гены. Тетя Нюра с первого дня отчего-то невзлюбила бабушку, и та отвечала ей взаимностью. Время от времени на кухне между ними случались свары, впрочем, без серьезных последствий. Но бывали и праздники, которые всех как-то объединяли. Например, как ни странно для того времени, Пасха. Кроме одиноко живущей в своей комнатке тети Раи, откровенно верующих в квартире не было, но к этому дню все хозяйки, каждая по своему рецепту, делали из творога «пасху» и пекли куличи. Причем – во всех свободных кастрюлях, от больших суповых до маленьких, из набора алюминиевой игрушечной посуды. В комнате тети Раи всегда было полутемно, горела лампадка, тут я впервые увидел иконы. И еще одно смутное, то ли сон, то ли воспоминание: мы с тетей Раей едем куда-то на машине «Победа», а потом входим в собор, причем, не в какой-то, а точно – в Никольский. Помню только огни люстр где-то в вышине и мерцающие огоньки свечей вокруг...

Вообще-то обстановка в квартире была довольно дружелюбной, а коридор и кухня, освобождавшаяся вечером, были местом детских игр – после того, как вслед за мной в квартире появились другие дети: сначала Сережа у Голуновых, за ним – наш Гена, потом Таня Лазарева, а затем и другие. Но в первые пять–шесть лет, с 1947 по 53-й, в квартире царствовал я. Как единственному малолетнему, мне позволялось всё. Мне всё разрешали, со мной играли и гуляли. Я мог зайти к Курчикам во время обеда, залезть на колени к суровому дяде Жоре и начать вылавливать руками упругих снетков из его тарелки с кислыми щами. Тетя Таня, его жена, заглядывала к маме и говорила: «Женя, глянь-ка, как Гринька молотит! А ты говоришь – ничего не ест».

Ел я действительно плохо и всегда был худым. Мама переживала, уговаривала и упрашивала, предлагала по ложечке за папу и за маму, нарезала «паровозики» из бутербродов. И грозила ремнем, когда теряла терпение. Ремня я не боялся, потому что никогда его не пробовал.

Потом, правда, когда мне было лет десять–одиннадцать, отец меня однажды выпорол. История довольно забавная. И первая проба на деньги, которые и по сей день не «липнут» к моим рукам. Во дворе на дровах (но травы не было, был снег) мы с Колькой Антоновым за несколько дней до Нового года нашли елку. Не то чтобы выброшенную, а совершенно целую. Кто ее туда подбросил? Не иначе, какая-то нечиста сила. Колька, в отличие от меня, тюфяка, был парнем предприимчивым, тут же и предложил: «Давай продадим!». Мы встали на улице около нашей подворотни, и стали продавать. Подошла пожилая тетенька с кошелками: «Почем елка?». «Десять рублей», – говорит Колька. – «А до дому донесете?». И добавила еще два рубля. Донесли мы ей елку до Разъезжей, второй дом от Марата, а деньги поделили поровну, по шесть рубликов. Дело было еще до денежной реформы 1961 года. То есть, на привычные последнему советскому поколению деньги – рубль двадцать, или по 60 копеек на брата. Но дело не в сумме, а в том, как с умом ее потратить. Колька положил свои рублики в карман, я же, как честный малый, выложил свою долю на телевизор: вот, мол, заработал, полюбуйте, дорогие родители. Мне и в голову не пришло оставить эти деньги себе на мороженое. Такое было воспитание. При том, что я не очень-то помню, чтобы меня как-то специально «воспитывали».

Родители пришли с работы и полюбовались. Когда картина прояснилась, мама побежала к Колькиной матери, а папаша взялся за ремень и одним разом, но на всю жизнь, выбил из меня всякое желание заниматься коммерцией. Кольке, конечно, тоже досталось, но, видимо, меньше. После неудачной попытки поучиться после восьмого класса в техникуме, после окончания школы рабочей молодежи, после одного курса в Горном, где он учился «на маркшейдера», наш Альберт Ольшанский (это была его мечта – вместо Кольки Антонова сделаться Альбертом Ольшанским) окончил-таки Торгово-экономический институт. Как, кстати, и мой двоюродный брат Миша. И оба «плохо кончили», хотя и не были поэтами.

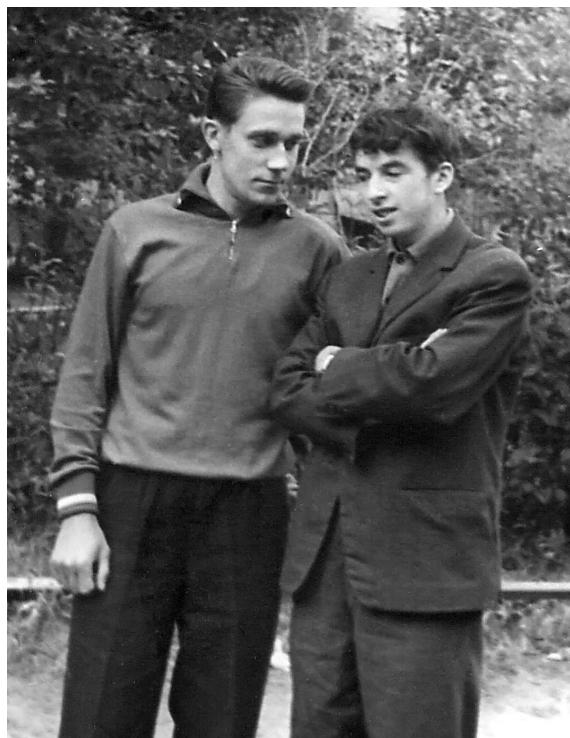
Колька после института стал работать директором вагона-ресторана и довольно скоро проворовался, попал в тюрьму, вышел, опять попал в какую-то историю и умер в расцвете лет. А может быть, спился, как его отец, приходивший иногда домой пропившимся до нижнего белья. Весь двор разбежался – «Дядя Саша идет!». Мы выглядывали из-за углов, как ковыляет к своей лестнице в углу двора Колькин отец. Вместе с нами исчезала из Колькиного окна на первом этаже сухонькая головка его бабушки, часами наблюдавшей за нашими играми во дворе. Ужасы эти, правда, продолжались не долго: мы еще учились в начальной школе, когда дядя Саша помер. А потом у Кольки появился отчим. «Прихожу домой, – хвастался Колька во дворе, – а на стуле китель висит, морского офицера!». Кителя этого мы на его отчине никогда не видели, но вскоре узнали, что работает он гардеробщиком в ресторане на углу Литейного и Некрасова. Поздно вечером, когда он приходил с работы, они с матерью раскладывали на столе стопками чаевые медяки, чтобы потом обменять их на бумажные деньги. Мать же Колькина работала на заводе, где делали коньки, и не



Колька Антонов. Начало 1960-х

случайно он был на катке главным финтилой: каждый год у него появлялась новенькая пара канадок.

Мои «предки» с родителями с Кольки и Тольки были, конечно, знакомы, но тесно не общались. Хотя бывали исключения. Я мог, например, прибежать вечером с улицы, а дома за столом сидят папа с дядей Колей, Толькиным отцом. На столе бутылка водки, хлеб, копченая треска (лабардан!) – куплено все по пути с работы в гидравлике – гастрономе, о котором речь впереди. Шли с



Мы с Толей Шорниковым во время его армейского отпуска. 13 сентября 1966 года

работы – папа с фабрики фотобумаг, а дядя Коля со своей мебельной, и на Заставской встретились. В одной войне воевали, им было о чем поговорить...

Мой брат Миша, не менее своего коллеги по торговому институту любивший хруст новеньких купюр и всякого рода предпринимательство, продержался подольше Кольки, не сдюжил уже в 90-е, когда на него на какой-то левой таможне обвалились шальные деньги. Широко разгулялся, но больно упал, и лежит теперь на еврейском кладбище, поглядывая со своего портрета на высокий черный мраморный памятник, поставленный в 40-м году нашим общим дедом Борисом нашей бабушке Хасе. А бабушка Хася, которую мы знали только по фотографиям, с укоризной поглядывает на него сверху.

Когда были мы совсем маленькими, о Хасе мы ничего не знали, нашей бабушкой, по линии папы, была вторая дедова жена, бабушка Циля, именно она до 1947 года была прописана в этой комнате на Марата, где мы жили теперь.

Единственное окно нашей комнаты, а также окна Курчиков и Голуновых (их комнаты были побольше и имели по два окна) выходили на улицу. Если смотреть с ее противоположной, четной стороны, на наш дом, эти пять окон находятся слева от арки, наше – крайнее, за стеной нашей комнаты уже 61-й дом. Теперь в нашей квартире клиника эстетической стоматологии, вход в которую сделали, расширив одно из окон Курчиков. А в нашей комнате, на месте печки, регистратура. Смешно и грустно.

В двух других комнатах, окнами во двор, жили тетя Рая Строганова (по моим тогдашним понятиям – старушка, которая исчезала летом, уходя «в леса», и появлялась к зиме, но зато у нее не переводились грибы, клюква и брусника) и тетя Шура, старший дворник. В доме был еще просто дворник (дворничиха), если не ошибаюсь – тетя Нюра, и вдвоем с тетей Шурой они поддерживали во дворе и на улице, на нашей части тротуара, идеальный порядок. Особенно замечен был их труд зимой, когда с раннего утра за окном можно было услышать разнообразные шорохи и скрипы. Деревянными лопатами они насыпали свежевывающий снег на большие металлические листы и за веревку волокли этот груз на улицу, сооружая на мостовой вдоль тротуаров аккуратные линии сугробов. Утром, когда я отправлялся в школу, а бабушка в магазин, эти сугробы уже сгребала своими лапищами снегоуборочная машина.

По тротуару, выложенному большими, почти метр на метр, серыми каменными плитами, мы шли направо, до Социалистической, на углу которой, в доме 65/20, был ближайший гастроном, в народе именовавшийся «гидравликом». Почему так? Ответить никто не мог. Гидравлик и гидравлик. И все-таки, через многие годы, ответ нашелся: в книге Дмитрия Шериха «По улице Марата», изданной в 2004 году, в главе о самом, наверное, необычном и «затейливом» строении на нашей улице. Приведу ее целиком, ведь все, о чем идет здесь речь, находится в пределах нашего квартала, на землях которого еще в середине XIX века располагались огороды купчихи Марьи Васильевны Сидоровой:

Наш дом. Слева от арки – пять окон нашей квартиры



Вход на черную лестницу, куда выходила дверь нашей кухни. Справа от водосточной трубы – подвал, где мы хранили дрова. Выше – окна комнат тети Шуры и тети Раи. А правее, в нише, окно кухни, которого на снимке не видно

Здесь были дрова, в которых мы с Колькой нашли елку. А на месте металлической ограды, отделяющей наш двор от заднего двора дома № 61, был сплошной деревянный забор. Эти снимки (вместе с фотографией моей школы и другими) мы с Любой сделали 29 июня 2016 года, когда предприняли вояж по местам моего детства



«Затейливый дом № 63 сразу бросается в глаза. Этакая игрушка, барский особнячок – особенно на фоне скучноватой окружающей застройки.

Это и есть особняк. Принадлежал он уроженцу Саксонии Курту Зигелю, известному в столице инженеру и предпринимателю. Вообще-то во владении Курта Богдановича находился обширный участок между Николаевской и Ямской улицами – и весь этот участок был по его заказу застроен: производственные корпуса завода «К.Б. Зигель», складские помещения, особняк... Большую часть работ осуществил известный архитектор Иероним Китнер.

Предприятие Зигеля открылось в столице еще в 1877 году. Занялся тогда саксонец оборудованием для подачи воды и газа, устраивал вентиляцию и изготавливал «механические прачешные». Поработать ему пришлось немало, и не только в Петербурге. В Екатеринодаре, например, Зигель построил первую водопроводную станцию.

А Санкт-Петербург обязан Зигелю одной из своих достопримечательностей. И хотя находится она не на улице Марата, умолчать о ней нельзя. Вход на зигелевское предприятие со стороны Ямской улицы (ныне, напомним, улица Достоевского) с начала XX века украшают два симпатичных бронзовых медведя. Оба Топтыгина стоят на задних лапах и обнимают при этом дубовые стволы.

В 1917 году завод Зигеля был национализирован; в середине XX века предприятие перешло на выпуск приборов и систем времени. Теперь оно называется «ХроноТрон»».



Особняк Курта Зигеля. Улица Марата, 63

Вот так и случилось, что магазин, ближайший к зданию завода, выпускавшего гидравлическое оборудование, был, «на местном диалекте» Вход с медведями

лекте», назван гидравликом, хотя, конечно, на его вывеске этого затейливого слова никогда не было.

У гидравлика мы с бабушкой расставались. Она заходила в магазин, а я поворачивал направо, на Социалистическую улицу. В спину мне поддувал ветерок с запахом горелого шоколада, веявший с кондитерской фабрики имени

жены В.И. Ленина Крупской (наверное, думал я, Надежда Константиновна очень любила сладкое). Переходил улицу Достоевского, и вот он, в нескольких шагах, дом 16, школа № 297. Шестиэтажный, построенный в 1912 году доходный дом, не обремененный, в отличие от соседнего 14-го, «архитектурными излишествами». Внешне примечателен разве что строгими формами, линией барельефов под окнами 3-го этажа и треугольным фронтоном. Внутри – тоже ничего особенного, кроме единого пространства двух верхних этажей, которое в наши школьные годы было спортивным залом. Или зрительным – в дни каких-либо праздников. Что могло быть в этом огромном помещении обычного доходного дома до того – можно только догадываться. Если, конечно, спортзал – не результат капитального ремонта.

По некоторым сведениям, в этом доме жил в 1914 году поэт Мандельштам, а в 1915–16-м – изобретатель телевидения В.К. Зворыкин, в то время, когда он был преподавателем Офицерской электротехнической школы. Теперь там бывают другие люди: в здании поселилась гостиница «Инжэкон».

Гораздо более знамениты два других дома на бывшей Ивановской.

Первый – соседний с нашей школой дом № 14, в нем находилась типография, где некогда, с 1912 по 1914-й год, печаталась газета «Правда», а в 50-е годы – «Вечерний Ленинград» и другие городские газеты. День выхода первого номера «Правды» – 5 мая по новому стилю, в советское время шумно праздновался журналистами, как День печати, но в смутные времена одним майским праздником стало меньше, он был перенесен и затерялся где-то в недрах календаря; при этом В.И. Ленин был переименован в П.А. Романова (он же Петр I), а большевистская печать и печать вообще – во всероссийскую. Память об исторических событиях, происходивших в этом здании, была впечатана в мемориальные доски, висевшие на его фасаде. После ремонта дома и преобразования его в бизнес-центр доски исчезли. Что логично: между тру-



Помещение гидравлика теперь занимает отделение «Сбербанка»

дом и капиталом отношения всегда были непростыми. В данном случае, как это случается чаще всего, победил капитал.

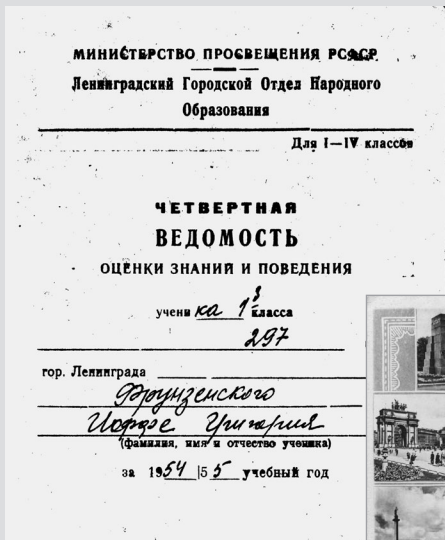
Второй дом – № 7, в котором уже несколько десятилетий «квартирует» 321-я школа, имеет более чем 200-летнюю историю. С 1817 года здесь размещался Благородный пансион, а затем, вплоть до революции – Первая Санкт-Петербургская классическая гимназия. Здание расположено на пересечении с улицей Правды, в свою очередь – бывшей Кабинетской. Такое серьезное название улица получила потому, что здесь находилась некогда Дворцовая слобода, в которой селились служащие кабинета Его Императорского Величества. Надо заметить – забавное соседство: на параллельной Ямской улице (ныне Достоевского), в Ямской слободе, жили извозчики (отсюда же название Ямских бань и Ямского рынка), которые разъезжались ранним утром по городу с Разъезжей улицы, пересекавшей Ямскую и Кабинетскую. Одни – на Невский и Лиговку, другие – в сторону Фонтанки, а оттуда в Коломну или в Адмиралтейскую часть, в том числе и к Зимнему дворцу.

Однако, я немного заблудился: шел в свою 297-ю школу, а попал в 321-ю, в которой, кстати, пару лет, до нашего переезда в новую квартиру на Краснопутиловской, успел поучиться Гена. И это не случайно: всё в нашем, как сказали бы теперь, микрорайоне было рядом: и школы, и районная библиотека (в здании 321-й школы), и стадион «Локомотив», и наш любимый кинотеатр «Победа» на Разъезжей, в ста метрах от Лиговки. В «Победе», кроме кинозала, был малый зал, в котором перед сеансами проводились небольшие концерты. Недавно узнал, что «Победой» этот кинотеатр стал называться после войны, в довоенное время у него было другое, не менее советское название. А рассказал мне об этом человек, который жил в 30-е годы неподалеку от кинотеатра и с которым мы, как выяснилось, многократно пересекались в нашем детстве, правда, не во времени (поскольку он на 17 лет старше меня), а в пространстве: наши дома находились друг от друга в пяти минутах ходьбы.

С Александром Залмановичем Кониковым нас связали несколько лет назад издательские дела. Человек он не просто интересный – удивительный. Выпускник ЛГУ 1953 года, кандидат геолого-минералогических наук, несколько десятилетий посвятивший исследованию геологии Сибири, Урала и Карелии, он в 2000 году (в 70 лет!) закончил Петербургский институт иудаики по специальности филолог-преподаватель, и за прошедшие годы прибавил к своему солидному списку научных работ по геологии ряд переводов с иврита, а также публикаций по вопросам иудаизма, например, о происхождении названий «библейских» минералов.

– Кинотеатр «Победа», – рассказал Александр Залманович, – до войны носил название «Молот», я ходил туда с шести лет, благо, он был рядом с нашим домом 35/37 по Коломенской улице. Мама давала 50 копеек на билет. Запомнились «Три поросенка», «Партийный билет», фильмы Чарли Чаплина...

А еще был на улице Правды Дом культуры пишевинов, где тоже было кино, а на Загородном проспекте – кинотеатр «Правда», в 1989 году преобразованный



Наш 4-б. Я второй справа в среднем ряду. С большинством из этих ребят я проучился в школе 8 лет. Звезд с неба никто из нас не хватал, учились посредственно, на три с плюсом. Те же, кто в среднем успевал на четыре, а таких было трое или четверо, в основном девочки, назывались отличниками



Дома № 14 (бывшая типография) и 16 (бывшая школа № 297) по Социалистической улице

Дом № 16



Дом № 7 по Социалистической улице – школа № 321



в Филармонию джазовой музыки. Да и до Дворца пионеров – в Аничковом дворце, на пересечении Невского и Фонтанки, в котором мы с Геней тоже, каждый по-своему, отметились, было рукой подать. Гена в свои школьные годы (все 10 лет) танцевал в дворцовом ансамбле песни и пляски, был его солистом и дважды побывал с ним в Артеке. (В одной из последующих глав он расскажет об этом сам.) Мой опыт был скромнее: в пятом и шестом классе я трудился здесь в кружке выпиливания и выжигания. Но к седьмому мне надоело пилить, и я подался в локомотивскую секцию легкой атлетики, на что бабушка Ксения немедленно отреагировала в своем духе: «А что не в тяжелую? Все ищешь, где полегче?».

Бабушка умела сказать-припечатать. В ее памяти было немало фразочек, подхваченных в разные годы в разных местах, и на Урале, и на Кубани, и в лагерях, которые она, всегда кстати, ввертывала в разговор. Мы иногда не понимали, что значит то или иное слово в ее изречениях, но смысл, благодаря интонации, был понятен, хотя и не всегда приятен. Вот, наверное, из лагерного: «Ты человек или милиционер?». Это когда мы с братом чересчур досаждали ей своими детскими выходками. Или, в похожей ситуации, но помягче, с кубанским акцентом: «Дурная голова ногам покою не дает». А на градус выше, уже выходя из себя: «Да чтоб тебя рóзарвало!». До сих пор разгадываю незамысловатое, на первый взгляд, высказывание, смесь русского с украинским: «Ума нема – беда неловка». Левая честь понятна. А вот дальше, что из этого «ума нема» следует? «Неловка» – от «ловкий» или от «ловить»? Перевод на украинский ничего не проясняет. И что? Ума нет – беда не страшна? Или: нет ума – беда сплошная? Если вспоминать интонацию, с которой это говорилось, получается: ну, дурак и дурак, чего с него взять? Неожиданный эффект дала попытка перевода на английский: «Ума нет – нет проблем». У них там за что ни возьмись – все отлично, по problem! А у нас: «Ни мужик, ни баба – Терентий». Это тоже из бабушкиного. Задолго до сексуальной революции.

И я возвращаюсь, уже возвратился, к бабушке. Тем более, что кто-то из читателей моих, если таковые найдутся, может спросить: к чему бы я завел весь этот разговор про нашу комнату, про ванную, про дрова и репродуктор, про тетю Раю и тетю Шуру, а о бабушке вроде бы и забыл, заболтался в своих ностальгических мемуаризмах. А заболтался не случайно: ведь бабушка, приехав в Ленинград, стала членом нашей семьи, обитателем этой комнаты и этой квартиры, частью нашего коммунального сообщества, которое жило своей особенной жизнью, где все были друг другу почти родственниками, где умирали старики, становились взрослыми вчерашние дети и рождались новые...

Вот как-то сама собой вырвалась фраза: «где умирали старики», и что-то зашло внутри. Вспышками из детского сознания являются эти седые люди, между ними и мной – материальные сантиметры, а сохранившиеся ощущения – мы, я и он, я и она, живем в каких-то разных мирах, и так оно и должно быть, и не помню я у себя, ребенка, потрясения при виде умирающих, а потом уже и ушедших в мир иной людей, соседей, почти родственников. Хотя, казалось

бы, для ребенка смерть должна быть чем-то не просто непонятным, но ужасным. Гроб с тетей Таней Курчик стоял на столе в их комнате («Где стол был яств...»), но помню не столько эту картину, а как его выносили – через окно прямо на улицу... Дядя Володя Голунов умирал, задыхаясь, рядом с ним лежала огромная брезентовая подушка с кислородом, он так и остался в памяти вместе с этой подушкой... Маленькая, беленькая, почти прозрачная старушка, мать тети Шуры, на белых простынях под белым одеялом – такое светлое воспоминание, не отягощенное печальными мыслями... Хотя – кто из нас в детстве, пытаясь заснуть, не задумывался о предстоящем, пусть и не скоро, собственном конце. Мысль эта казалась нелепой, но в груди замирало, и только подкрадывшийся сон смывал из сознания наваждение ужаса.

Первое потрясение, связанное со смертью, случилось позже, когда мы заканчивали седьмой класс и сдавали свои первые в жизни экзамены. На Загородном проспекте есть садик, или сквер, у которого, по-моему, никогда не было ни имени, ни названия, находится он напротив нынешней Джазовой филармонии, в те годы – кинотеатра «Правда», и свой второй вход-выход имеет через дворы на Социалистическую улицу – совсем рядом с 321-й школой. На одной из скамеек в этом садике сидела девочка из этой школы, наша ровесница, и готовилась к экзаменам. Она и представить себе не могла, что какой-то негодяй уже проиграл в карты ее жизнь. Он появился в садике из двора со стороны Социалистической, подошел к ней, сел рядом и достал нож... Так описывали потом эту картину. А через несколько дней в школе стоял утопающий в цветах гроб, проститься с девочкой пришли ребята из всех ближайших кварталов...

Сегодня наше жительство в пятером в 14-метровой комнате может показаться ужасом, но мы так жили, и не жаловались. Сюда, в эту комнату, бабушка приехала после десяти лет, проведенных на лагерных нарах, и почти трех – в целинных бараках. Водопровод, газ, ванная, всегда теплая печка и нормальная еда после десяти голодных лет в лагерях, наконец, безграничный город, окружавший нашу маленькую квартирку, – теперь все это могло показаться раем. Потом, в 63-м, когда мы переедем в 4-комнатную (36-метровую) квартиру в хрущёвке, на углу Краснопутиловской и Кубинской, у бабушки появится, пусть маленькая, но своя, пятиметровая комнатка.

С приездом бабушки стали восстанавливаться семейные связи, разорванные войной и лагерем. Младшего брата она не видела с 38-го года, когда Николая мобилизовали в армию на переподготовку. Там же, на Кубани, в станице Старощербиновской, она рассталась с сестрами Зиной и Шурой, которые не порвали с ней почтовую связь и поддерживали ее во все последующие ненастные годы. Но главное – она ничего не знала о судьбе своей младшей дочери Виты – Виолетты, которой 27 марта 1943 года, в день ее ареста, было всего-навсего одиннадцать лет.

К счастью, Виолетта найдется, подробнее об этом и о много другом – чуть позже, а на улице Марата мы вернемся еще не раз...